

Борис Васильев

В окружении. Страшное лето 1941-го

Моя семья

Ни отец, ни мама никогда мне ничего не рассказывали о себе. Ни о своем детстве, ни о своей молодости. Они исходили из главного принципа того времени, когда я был ребенком: чем меньше я буду знать о прошлом, тем спокойнее будет моя жизнь. Зато бабушка и моя тетя Таня кое во что меня посвящали, и я — запомнил.

Я знал, что мой отец — офицер царской армии, закончивший курсы прапорщиков где-то в самом начале 1915 года и — уже на фронте — дослужившийся до поручика. Знал, что его отец умер вскоре после его рождения, оставив четверых детей: двух сыновей и двух дочерей. Старший сын традиционно готовился к военной службе, моему же отцу был предоставлен выбор. Закончив городское училище, он возмечтал было об университете, но мечта эта так мечтою и осталась, поскольку не была подкреплена соответствующей экономической базой. Впоследствии отец жалел, что не рискнул тогда учиться на собственный заработок (уроки, переписка и тому подобное), но в

то время он еще болел крапивницей сословных предрассудков. Дескать, мы бедные, но гордые, и прочая ахинея, вбитая в юные головы и искалечившая немало судеб. Потом-то он от нее излечился, поскольку окопная грязь, вши и немецкая артиллерия действовали на дворянские недуги куда интенсивнее пресловутых заграничных вод. Но тогда, за четыре года до начала предписанного историей курса лечения, батюшка подался в школу прапорщиков.

Отцу суждено было прожить на свете 76 лет и два месяца: в отличие от большинства сверстников, ему повезло. Каскад из трех войн унес из России такое количество душ, что их вполне хватило бы для освоения небольшой планеты в соседней Галактике, а ведь кроме войн были и мирные периоды, во время которых с душами обращались избирательно, следуя правилу: «Пуля — дура, да расстрел — молодец». Целеустремленное проведение в жизнь второй половины этого правила во дни мира, а первой — в дни войны практически ликвидировало последние остатки русского потомственного офицерства, и после заключительного каскада — Великой Отечественной войны — отец представлялся мне экспонатом Красной книги с горестной пометкой: «Встречаются отдельные экземпляры».

То, что отец уцелел, несмотря на немыслимое количество обрушенного на него во всех трех войнах металла, удивительно, но не парадоксально. Парадокс в том, что, начав самостоятельную жизнь со спесивого нежелания самому зарабатывать на обучение, батюшка к концу ее знал столько ремесел, сколько мало кто знает. Он мог срубить дом и сложить печь, починить телевизор и сапоги, исполнить любую столярную работу, капитально отремонтировать автомашину, подковать лошадь, переплести книгу... Нет, я не в состоянии перечислить всего, что он умел делать, потому что он умел делать все. И делал все и для всех, ибо не обладал удобной способностью отказывать кому бы то ни было в просьбе, старомодно полагая такой поступок неприличным. В 1969 году — через год после его смерти — мы с сестрой вздумали почистить печь на отцовской даче. Домик — крохотный, в 18 квадратных метров — был выстроен отцом от фундамента до конька, а печь — чудо-печь, нагревавшая дом считанными поленьями! — сложена его руками. Мы ухлопали на эту операцию весь день, разворотили полтрубы, но печь упорно продолжала дымить.

— Молодцы мы с тобой, — сказала сестра, в бессчетный раз присев передохнуть перед новым отчаянным штурмом непокорного устройства. —

Отец ее один сложил, а мы вдвоем вычистить не можем.

— Так то — отец, — вздохнул я.

Теперь-то я понимаю, в чем дело: нам сопротивлялась сама печь. Когда умер отец, она начала дымить, дом — скрипеть, неожиданно перекосялся стол во дворе, и сам собою обрушился колодец. Созданные мастером изделия не хотели жить без него, потому что он вкладывал в них свою душу.

* * *

У меня сохранилось очень мало фотографий отца, а относящихся к Первой мировой и Гражданской войнам нет вообще. История их исчезновения могла бы послужить сюжетом, отображающим не только время, но и сопутствующие ему страхи. Это очень любопытная тема: исследование взаимодействия и взаимовлияния страхов и времени, — но она вполне самостоятельна, а посему пока отложим ее. И примем как данность, что из всех фотографий времен отцовской молодости чудом уцелели две в семейном альбоме его сестры Марии Александровны Денищик, женщины самостоятельной и отважной. Но даже ее отвага не смогла сохранить фотографий поручика-брата,

уклончиво оставив его для памяти в цивильном костюме, правда, такого качества, которое в тридцатые годы тянуло на добрых десять лет общего режима.

На этой фотографии («Собственное дело Горбачева Н. М. Смоленск, Кадетская № 17») батюшка на фоне расплывчатых руин застенчиво попирает локтем утес из папье-маше. Добрые глаза его смотрят с невероятным молодым напряжением, а роскошные, любовно ухоженные усы просто обязаны заверить нас в его неотразимой мужественности. Разглядывая этот снимок, я пытаюсь отвлечься от осознания, что на нем запечатлен мой отец. Я пытаюсь увидеть молодого человека времен заката царской России, не крестьянина и не торговца, не социалиста и не монархиста, не слишком образованного, не слишком терзаемого совестью, не слишком размышляющего над судьбами Отечества. То есть абсолютно нормального, здорового двадцатилетнего молодого человека из провинции. Он кое-как и кое-что болтает по-французски, играет для дам на гитаре, а для себя — на мандолине, поет цыганско-гусарский репертуар, развлекает декламацией модных стихов, а развлекается за карточным столом. «Общество» для него — арбитр элантиерум, мода — символ веры, вечера, балы, пикники и карнавалы — апофеоз существования.

Дыра в башмаке равносильна катастрофе и уж, безусловно, страшнее дыр в семейном бюджете. А там их в избытке, и провинциальный юнкер, не подозревающий, что кончит он свое земное существование коммунистом, вертится волчком, чтобы удержаться на скользком паркете губернского города Смоленска.

Таково содержание первой фотографии. На второй отец изображен на фоне тех же руин, но рядом стоит очень изящная молодая дама. Это — моя будущая матушка, а посему разглядывание второго семейного снимка отложим до соответствующего места. Все хорошо в свое время, а особенно — фантазии на семейные темы.

Я люблю рассматривать старинные фотографии. Люблю толстый картон, который не сворачивается в трубочку, подобно пересохшему сыру. Люблю неторопливую, обладающую глубоким смыслом ретушь. Люблю серьезность — серьезность мастера, который никуда не спешит, наводя на фокус, и серьезность объектов его мастерства, которые встали перед объективом не потому, что случайно проходили мимо. Люблю детскую наивность рисованных замков, утесов и пальм. Люблю, наконец, полновесность серебра, до сей поры хранящего изображения. Серебро — не просто благородный, а единственно благородный металл, ибо только оно обладает человеколюбием,

убивая болезнетворных микробов и увековечивая людей. Цвет серебра изящен и аристократичен: недаром мы сравниваем с ним седину, достойную почитания. Серебро воспитанно и худошаво, в отличие от крикливого и жирного золота, залившего весь мир кровью и ничего так и не давшего человечеству взамен. Золото оскорбительно своей демонстративностью: лишенное скромности и внутреннего такта, оно способно лишь вопить о кошельке владельца. Рот, набитый золотом, с детства воспринимается мною как пасть скоробогатя. Да, да, того самого буржуя, презрение к которому было привилегией нашего голодного, разутого и раздетого Отечества, единственной, но до чего же гордой привилегией!

Серебро исчезает: тот, кто работает на человека, всегда сжигает себя. А вот количество золота в мире неуклонно растет, но люди не становятся богаче от того, что оно растет. Когда человечество уразумеет, наконец, эту простую истину, оно шагнет вперед сразу на два порядка. Однажды мы пытались доказать это миру, но то ли мир не понял нас, то ли мы мир не поняли, то ли доказательства были не слишком доходчивыми, а только набитые золотом пасти по-прежнему зевают мне в лицо из-за каждого прилавка. И я горжусь тем, что на старой фотографии отца нет никакого

золота. Есть только благородное серебро, сохранившее для меня его дорогой облик.

Я видел, как этот сохраненный серебром облик сгорал в пламени печурки в старом смоленском доме на Покровке. Моем первом доме земного бытия. Доме, где я учился узнавать своих родных, ползать и говорить первые слова. Это был лучший Дом на земле, поверьте, я уже старше собственного отца и успел сменить множество домов. Там жила не только сама Гармония, но и ручная белая крыса без хвоста, аккуратность которой за столом — мы с ней вместе завтракали, обедали и ужинали — мама всегда ставила мне в пример.

Так вот в этом замечательном доме было то ли холодно, то ли я простудился, а только ночью я проснулся от озноба и увидел, как в раскаленном жерле печурки сгорают толстые дореволюционные паспарту, унося вместе с дымом облики запечатленных на их серебре людей. И я не удивился, я, как мне кажется сегодня, понял, что есть времена сжигания своего прошлого.

* * *

Через год после посещения «Собственного дела Горбачева» облик батюшки резко изменился: он надел военную форму, которую не снимал до

своей кончины. Она словно приросла к нему, стала второй кожей, частью его существа и смыслом его существования. Судьба чуть было не напутала: солдатом родился отец, а не его старший брат Павел. Подчеркиваю: родился, ибо до тех пор, пока человечеству свойственно нападать и обороняться, оно будет поставлять солдат для самого себя, не полагаясь на волю случая, а программируя это традициями, обычаями, престижностью и девичьими вздохами о душах-военных. Мы застали еще — правда, уже на излете — те времена, когда служба Отечеству была столь же естественна, как забота о собственном достоинстве, и шпага считалась естественным продолжением руки. Но и при этом случались казусы, шпага оказывалась при младшем сыне, а не при старшем, как того требовал обычай. Так произошло с моим отцом, но история исправила ошибку: за десять лет до моего рождения новоиспеченный пехотный прапорщик отправился в окопы Первой мировой, успев, к счастью, жениться между выпускным парадом и погрузкой в эшелон.

Я убежден, что каждой человеческой душе нужна своя, единственная, ей присущая форма проявления, если рассматривать душу не как мистический символ, а как философское понятие, как ДУХ. Борения этого духа и есть поиски своей формы существования, но большинство так и не

находит ее, и, следовательно, жизнь их не просто дисгармонична, не только судорожно перенапряжена, но и может считаться несостоявшейся, ибо их дух не нашел возможности выразить себя. Талант — я имею в виду его проявление, то есть действие, а не термин — и есть соответствие формы и содержания, а гениальный скрипач Ойстрах он при этом, заботливая мать или безымянный таксист, получающий наслаждение не от суммы чаевых, а от собственной реакции, ловкости и расчета, это уже не существенно. Мой отец, к примеру, воспринял военную форму как форму своего духа, и был прав, и был счастлив, ибо не знал ни зависти, ни неудовлетворенных желаний. Я особо подчеркиваю важность соответствия духа и формы его выражения, так как дух просыпается незаметно, и воспитатели детских душ должны быть чрезвычайно внимательны, добры и бдительны. Тенденция силой запихивать душу ребенка в приятную, доступную, понятную или просто престижную форму приводит к внутренней трагедии во всех случаях без исключения. Проявление этой трагедии может быть различным — дерзость, грубость, открытая конфронтация со всем и со всеми, тартюфовское смирение или уголовное деяние, — но причина одна: покушение на детскую душу.

К великому моему счастью, батюшка мой обрел единство формы и содержания быстро, без особых терзаний и задолго — за десять лет! — до моего рождения. Таким образом, одно из слагаемых было заведомо гармоничным, но человек есть сумма двух слагаемых и разность двух векторов.

* * *

Отец мало и неохотно рассказывал о себе. Он чудом пережил три армейские чистки, бывшие больше всего по офицерам царской армии, которые сразу или не сразу, а подумав и помучившись, добровольно или по призыву приходили в Красную армию. В конечном итоге их оказалось больше именно в Красной армии, нежели в Белой: по данным на 20-й год, их числилось в ней около 170 тысяч. Именно они и создали Красную армию гибкого трехчленного состава (три роты — батальон, три батальона — полк и так далее), что резко упростило управление, тогда как царская армия упорно сохраняла четырехчленный состав. Им принадлежит честь создания основной ударной силы Красной армии — ее стремительных конных армий — и принципиально иной, куда более современной тактики ее частей и соединений. И именно этих офицеров изгоняли из Красной армии в первую очередь.

В этом сказывалось не только недоверие к вчерашним золотопогонникам и даже не только застарелая, с молоком матери впитанная ненависть к дворянству. Они были профессионально требовательны к подчиненным, добиваясь беспрекословного исполнения приказов и неукоснительно строгой дисциплины, то есть именно того, чем всегда славилась русская армия. Это было в традициях русского офицерства, точно так же, как и забота о солдатах. Дедовщина в нашей армии возникла тогда, когда эти традиции были окончательно забыты. Офицеры-дворяне попали под тяжкий каток выравнивания социальной поверхности русского общества одними из первых. План уничтожения русской интеллигенции был запущен Сталиным сразу же по окончании Гражданской войны и действовал вплоть до его смерти.

В 48-м я сдал госэкзамены и сделал диплом в начале августа. Получил все требуемые отзывы от консультантов и заверения, что защищаться мне предстоит в начале сентября, и наша компания решила сходить в поход на Истринское водохранилище. Нас было пятеро — три девицы и двое парней. Мы сошли на станции Березки и пошли к водохранилищу. Пишу об этом потому лишь потому, что при пересечении деревень за нами бежали все местные ребятишки с воплями:

«Девки в штанах!..», а деревенские дамы неодобрительно плевались вслед. Все относительно в мире сем, и мы к этому тоже относились спокойно.

Дней пять мы жили на берегу Истринского водохранилища в полном одиночестве. Грибов было много, мы ели их во всех видах, а потом двинулись к дому, потому что 31 августа был день рождения моей жены Зори. 29-го вечером мы с ней пришли в свою квартиру на Хорошевском шоссе и обнаружили записку: «Борис, твоя защита — в 10.00 30 августа». На следующий день я помчался на защиту, получил «4» и полуторамесячный отпуск и 2 сентября уехал к отцу на Сорок третий километр Ярославской дороги. Вот ради этого отпуска я и позволил себе совершенно ненужные отступления.

Отец решил пристроить террасу к домику, и я ему помогал по мере возможности. А попутно варил похлебку из мясных консервов на два дня и спускал ее в колодец, откуда мы ее и извлекали для очередного обеда, потому что жили вдвоем, и я не хотел, чтобы отец разрывался между работой и необходимостью меня кормить. Собирал грибы прямо на участке, который все еще оставался лесом, и варил их на закуску. Ходил в Зеленоградскую за хлебом и большой ржавой селедкой, которую отец почему-то предпочитал всем иным (помнится, она

называлась каспийской). Раз в три дня нам приносили молоко из Горелой Рощи, но это — для завтрака, потому что еще были куры. Штук семь, что ли, во главе с задиристым петушком. Перед обедом мы с отцом непременно выпивали по две рюмочки, и нам вполне хватало бутылки на два дня. После обеда отец, как правило, заваливался на часок поспать, а я бродил по соседним перелескам, прихватывая что-либо полезное для нашего хозяйства. Сухой ствол, к примеру, или какую-нибудь смешную корягу.

Мы мало разговаривали с отцом: на работе не поговоришь, да он и не был особо разговорчивым человеком, хотя в детстве мы всегда гуляли с разговорами. Но то было еще ДО разгрома Сталиным офицерского корпуса Красной армии, в котором отец уцелел истинным чудом. Накануне мая 37-го года его послали с инспекцией в Якутию и на Дальний Восток, там он оказался посторонним, а когда вернулся, аресты командного состава резко пошли на убыль, и отца перевели в Воронеж, куда мы и переехали. ДО — и это ДО весьма на него повлияло: он вдруг стал неразговорчивым. Вечерами мы оба читали — отец еще только начал собирать собственный телевизор и в конце концов сделал его. А тогда много читали при свете керосиновой лампы, пока нам наконец-таки не провели электричество. Но один вопрос меня мучил

давно, и как-то я задал этот мучивший меня вопрос. За обедом, после рюмки:

— Объясни мне, пожалуйста, как это ты, командир роты, поручик, золотопогонник, перешел вдруг на сторону большевиков?

Я тогда, помнится, налил ему картофельной похлебки, поставил перед ним тарелку, но он — закурил, хотя по негласной договоренности мы курили после первого, а не до него. И сказал:

— Видишь ли, Борис, в России офицеры присягали не народу, не родине, а — Государю. И когда Николай отрекся от престола, а его брат Михаил отказался от короны, русские офицеры оказались свободными от присяги. И каждый поступал согласно своим представлениям о будущем России.

— И многие решили стать большевиками?

— Дело не в большевиках, дело в семьях. Фронт был огромным, три тысячи верст, а царский офицерский корпус — из центральных губерний, как правило. Московская, Смоленская, Рязанская — старые дворянские гнезда. А там — советская власть. Вот русское офицерство в основном и подалось к семьям своим. Многие просто отсидеться надеялись, а тут — призыв офицеров в армию. Вот так и пошли. По мобилизации.

— И ты — тоже?

— Я? Нет. Я на фронт прибыл субалтерн-офицером, взводным фендриком. В бою на Болимовском выступе — это под Варшавой — германцы применили хлор. Я нахлебался, сознание потерял, солдаты вытащили. У фронта — свои законы. Я рукоприкладством не занимался, из общего котла ел, как все, они меня за своего и считали. Письма неграмотным писал, портянки теплые для солдат пробивал. Солдат все видит, его не обманешь. И когда в семнадцатом рота постановила, что будет за большевиков, я им сказал: «Я — с вами». Все куда проще, чем об этом потом стали писать. Война — это не пальба да атаки, сам знаешь. Война — это быт. Ненормальный, но — быт. По нему и судят об офицере.

— Это тебе помогло?

Отец пожал плечами:

— Жив остался.

Я написал это и взял в руки старую, выпущенную еще в начале века безопасную бритву «Жиллет»: когда-то мама подарила ее отцу, который уезжал на свою первую войну. Я бреюсь ею и сегодня, и это — мое единственное наследство, не считая, разумеется, подаренной мне жизни. Отец пронес ее по всем своим военным тропам, дважды терял, но солдаты находили, и она опять оказывалась в его полевой сумке. Когда-то

она была в фиолетовом бархатном футляре, но футляр где-то затерялся, а бритва жива и поныне. Когда я бреюсь, я испытываю странное чувство причастности к жизни собственных родителей. Юная мама дарит уезжающему на фронт столь же юному мужу, в сущности, бесполезную вещь: на фронтах не продают безопасных лезвий. И отец таскает этот бесполезный подарок по всем фронтам в своей полевой сумке...

Странные люди жили в начале века. Люди, умеющие любить и прощать. И завещали это нам, но мы растеряли этот дар в суете наших бессмысленных и бесконечных строительствах, обид, невзгод и невероятного накопления чисто обывательской безадресной злобы. Злобы против всех.

* * *

Моя матушка Елена Николаевна, урожденная Алексеева, родилась в том же, 1892 году, что и отец, но на четыре месяца позже — в июле. История юности ее отца и многочисленных дядюшек и тетюшек рассказана в романе «Были и небыли», где ее батюшка (мой, стало быть, дед) выведен под именем Ивана Ивановича Олексина. Я изменил фамилию реальных людей на созвучный псевдоним литературных героев только ради

свободы романного маневра, поскольку мои предки по материнской линии оказались связанными с Пушкиным, Толстым и общественным движением XIX века, что могло вызвать множество уточняющих вопросов историков. Правда, все мои консультанты легко и просто в этом разбирались, лишь порою сердито спрашивая, откуда мне известна биография братьев Алексеевых. Но, выяснив, откуда, переставали задавать вопросы.

Однако вернемся в день вчерашний.

История далекого предка не сохранилась в семейных преданиях, уйдя, по всей вероятности, в другие линии Алексеевского рода. А вот историю своего дяди Василия Ивановича Алексеева — его американский эксперимент и дружбу со Львом Николаевичем Толстым — матушка все же мне рассказала, так как очень этим гордилась. По ее словам, ее отец Иван Иванович Алексеев активно участвовал вместе с братом Василием в кружке чайковцев, строил коммуны в американском штате Канзас по методу Фурье и был близко знаком с Л. Н. Толстым. Василий Иванович, как известно, не только стал первым толстовцем, истово уверовав в учение своего гениального друга, но и спас от забвения и уничтожения его «Евангелие», переписав рукопись Льва Николаевича за одну ночь перед ее отправкой в Синод.

...К толстовскому юбилею (150 лет со дня рождения) журнал «Дружба народов» предложил мне написать статью. Я начал ее, но показалось вдруг, что запутался, что не смогу осилить, осмыслить, и — оставил. А сейчас понял, что она — сумма моих детских, юношеских, взрослых, литературных и семейных представлений о великом писателе земли Русской. Возможно, они наивны, возможно — банальны, но они — мои, и я попытаюсь их изложить, поскольку корни моего особого отношения ко Льву Николаевичу заложены все-таки мамой.

Только сначала — маленькое отступление. Года два назад (если не больше) «Литературная газета» попросила у меня интервью. Я заканчивал роман, а потому боялся перерывов и отказал.

— Не отказывайте, Борис Львович. Интервью у вас хочет взять пра-пра... внук Льва Толстого.

Мы встретились с потомком графа Толстого, поговорили на самые разные темы, после чего он пригласил меня в Ясную Поляну на очередной ежегодный съезд всех прямых потомков Льва Николаевича. Я поблагодарил, но в сентябре он позвонил, напомнил о моем обещании и сообщил число, когда меня будут там ждать. Я вежливо отказался, сославшись на то, что встречи родных — дело семейное и мне как-то не совсем удобно нарушать обычай. Тогда мне позвонили из Ясной

Поляны (кто-то из более старшего возраста), сказали, что приглашают меня официально, но я все же отказался. Внучатый племянник учителя старшего сына Льва Николаевича, Сергея — это даже не седьмая вода на киселе... А теперь понимаю, что гордыня то была. Гордыня, почему и жалею, что отказался от такой чести.

* * *

В отличие от Василия, его брат Иван — отец мамы — устоял перед авторитетом, но не устоял перед юбкой: подобные парадоксы часто случаются с мужчинами. Когда я читаю набоковскую «Лолиту», я вспоминаю деда. Как знать, может быть, Набоков что-то слышал о его трагедии?

Когда это стряслось, дед был уже взрослым, а главное, многое пережившим человеком. Отсидел в «Крестах» за участие в студенческих демонстрациях, проходил по процессу «83-х», был сослан на родину под надзор полиции, сбежал вместе с братом Василием в Америку, где братья и решили строить счастливую жизнь по рецепту Фурье, организовав трудовую коммуну. Из этого дела ровно ничего не вышло, и, когда закончились деньги, братья подались на родину.

Да, поиски нравственного идеала в России конца прошлого века многих уводили за океан и

очень многих — в места не столь отдаленные. Деду повезло уцелеть и вернуться, а когда его брат Василий вдруг увлекся религиозными построениями Толстого, он — в знак протеста — приехал в Петербург, где и продолжил учиться, но уже не в Университете, а в Технологическом институте, «Техноложке» — как тогда, да и сейчас, его называют. Сняв комнату у вдовы чиновника, бородатый студент учился легко и увлеченно, что не помешало ему, впрочем, вскоре жениться на своей квартирной хозяйке. Брак не вызвал особых пересудов: супруги были одного круга, Дарья Кирилловна сохранила и красоту, и обаяние, несмотря на то что родила дочь в очень юном возрасте. Покойный супруг ее — отец девочки — был грек, и дочь-полукровка возвела в квадрат красоту, живость и обаяние русской матери и греческого папы. Это было на редкость грациозное существо с идеальной фигуркой, черными косами ниже пояса и густо-синими глазами: сочетание, которое не может спокойно вынести ни один нормальный мужчина. И дед не был исключением: через год после свадьбы пятнадцатилетняя падчерица родила ему первого ребенка — мою старшую тетю Олю.

На этой клубничной сенсации давайте остановимся. Я рассказываю о своем деду и о своей бабке, и мне совсем не хочется, чтобы их трагедия

выглядела этаким секс-опереттой. Может быть, она и была бы таковой, если бы мой дед всю жизнь до безумия не любил бы этой женщины и если бы эта женщина не была такова, какова она была. И, к сожалению, выражение «до безумия» в данном случае не метафора. Дед и впрямь тронулся рассудком от этой несчастной любви, которая превратилась в ненависть, оставшись великой любовью и породив в реальной жизни поэтическое единство диалектических антиподов. Но все должно знать свое место, а в особенности — рассказ о бабушке, ибо она-то и стала моим главным наставником, учителем и воспитателем.

Когда несовершеннолетняя девочка оказывается мамой, это естественно, но не совсем привычно, что ли, а потому способно создать лавину слухов и сплетен. Когда же эта родившая девочка — ваша падчерица и вы не только не отрещиваетесь от всего на все стороны — нет, вы безмерно счастливы! — это уже гран-скандал. И, учтя неизбежность этого гран-скандала, дед при первых намеках падчерицы на взаимность честно рассказал все ее матери, то есть своей законной жене. Не повинулся, а объявил, что любит он не ее, а ее дочь, и женился только для того, чтобы быть рядом с девочкой всю жизнь и всю жизнь любить ее. И что девочка ответила взаимностью со всем пылом греко-славянского происхождения. Не знаю,

любила ли Дарья Кирилловна моего деда, но все их объяснения закончились тем, что оскорбленная супруга уехала в Высокое, отошедшее к тому времени в собственность Ивана Ивановича, заявив, что не желает более видеть ни мужа, ни дочери.

Вскоре у двух горячо и искренне любящих людей родился первый незаконный ребенок. Незаконный потому, что Дарья Кирилловна о разводе не желала ничего слышать, и в глазах церкви и общества получалось, что юная грешница прижила ребенка на стороне. В соответствии с этим ребенок получил отчество не по родному отцу, а по крестному, а поскольку крестным был брат Ивана Ивановича Георгий, то моя старшая тетушка и писалась всю жизнь Ольгой Георгиевной во всех бумагах и документах. Матушка моя оказалась второй незаконной дочерью, крестным отцом ее был другой брат, Николай, и звалась она, соответственно, Еленой Николаевной. И только последующие дети — Владимир и Татьяна — родившиеся после смерти Дарьи Кирилловны и венчания собственных родителей — получили право на отцовское имя: Владимир Иванович и Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна, моя тетя Таня, пережила всех и вся: революцию и Гражданскую войну, смерть первого мужа и расстрел второго, коллективизацию и опричнину, Великую Отечественную войну и угон в Германию.

* * *

Когда это случилось, она с маленьким сыном Вадимом и дочерью Ольгой, у которой уже был ребенок, жила в Жиздре — маленьком городке тогда Смоленской области, выбранном заботливым НКВД для ее ссылки без права изменения места жительства. К тому времени Оля уже закончила педагогический техникум и преподавала немецкий язык, что в какой-то степени помогло им выжить. Когда наши войска освободили Жиздру, мама писала множество запросов во все инстанции, но получала один ответ: «О судьбе ваших родственников известий не имеется». И только в 45-м, вскоре после Победы, из Смоленска пришло письмо от самой тети Тани. И мы с мамой тут же выехали в Смоленск.

И я увидел разрушенный почти до основания город моего первого вздоха. Разбитые и взорванные дома, исчезнувшие улицы, руины кварталов, в которых мне до сей поры чудился запах трупов и взрывчатки. И над всем этим возвышался не тронутый ни единой бомбой Успенский собор, в котором шли службы. Я не мистик и тем не менее не мог не признать, что здесь не обошлось без какого-то чуда. Уцелело самое высокое здание, отличный ориентир для бомбежек как германских,

так и наших самолетов, и — ни одной бомбы не попало в него, хотя рядом было решительно все сметено с лица земли.

Тетя Таня нас встречала. Она жила на Покровке в каком-то огромном подвале, где на узлах, на досках, на охапках соломы ютилось множество беженцев и перемещенных лиц. Вместе с нею были Оля и Вадим: Олин ребенок умер еще во время оккупации. Я оставил их в этом подвале и помчался в центр Смоленска, где провел свое детство. Здесь тоже было много разрушенных домов, но сам центр пострадал все же меньше, чем иные районы города. Целым оказался ансамбль, окружающий Блонье, Лопатинский сад и, как ни странно, все памятники Отечественной войны 1812 года: немцы увезли в Германию только памятник генералу Энгельгардту. Я пометался по знакомым местам, выяснил, что наш дом во дворе по улице Декабристов 2/61 тоже разрушен бомбой, и уже под вечер вернулся в подвал на Покровку. На следующий день мне предстояло помочь тете получить хоть какой-то «вид на жительство» и место этого жительства.

Признаться, я не умею продираться куда бы то ни было, расталкивая всех локтями. Не умею просить, не умею жаловаться: родители постарались избавить меня от этих холопских качеств, не очень полагаясь на гены (тогда это не

было столь модным, каким стало впоследствии). Поэтому я провел трудную ночь, ни на что не решился, но когда пришел вместе с тетей Таней и своими двоюродными братом и сестрой на какой-то контрольный пункт и увидел огромную очередь на улице, то что-то со мной случилось. Я уже был офицером (я получил звание младшего техника-лейтенанта еще в апреле 45-го), а потому решительно пошел мимо всех обреченно стоявших и угнетенно молчавших. В приемной тоже яблоку некуда было упасть, хотя сюда вызывали людей порциями. У входа в кабинет стоял какой-то сержант, но я отодвинул его и без стука распахнул дверь. Пишу об этом столь подробно потому лишь, что и до сей поры этого не забыл и до сей поры удивляюсь самому себе.

За столом в кабинете сидел немолодой майор, если судить по званиям армейским, напротив его — тихо плачущая женщина. Тогда многие плакали, но всегда — тихо, всегда собирая в платочек собственное горе, точно стесняясь его.

— Проездом, — объявил я, козырнув майору. — Дело у меня, а времени — в обрез.

— Обождите в приемной, — сказал майор женщине.

Несчастливая женщина еще не успела выйти, как я, развалившись на освободившемся стуле, уже начал что-то говорить. Помнится, одна здравая

мысль тогда сидела в моей голове: не дать майору перехватить инициативу. И я не дал. Я рассказывал майору о Параде Победы, участником которого был и в самом деле; об академии, в которой учился, о преимуществе наших танков... Ну и, конечно же, о тете и ее семье, угнанных немцами в Германию. Развязностью, которой стыжусь до сей поры, я прикрывал свое полное неумение разговаривать с незнакомым человеком: черта, свойственная мне от природы. Я умею и люблю говорить с аудиторией, она меня не пугает, и я всегда нахожу верный тон. Но разговор тет-а-тет был и остался моим слабым местом: я — скорее массовик-затейник, нежели собеседник.

Сдается мне, что майор прекрасно понял меня тогда. Понял мою полную беспомощность и наивность, но понял и то, что я изо всех сил, глупо и неумело пытаюсь исполнить долг: помочь родным, попавшим в тяжелое положение. Конечно, он мог бы сказать уже ставшее знаменитым «разберемся», тем более что я намеревался в тот же день уехать в Москву, но сказал другое:

— Все сделаем. Учись спокойно.

Я ушел. А майор, закончив с плачущей женщиной, вызвал к себе тетю Таню и Олю. Не знаю, о чем они говорили, но документы им были выданы, а местом проживания определена Ельня по их просьбе. Все же ближе к родному гнезду...

Вечером того же дня мы выехали в Москву, взяв с собою Вадима. Он никогда не учился в школе, а болтал куда чаще по-немецки, основательно путаясь в русском языке. Предстояло подготовить его для пятого класса, что нам и удалось. А затем Вадим закончил техникум, следом — заочный институт, всю жизнь проработал в ГАИ Ярославля и вышел в отставку полковником милиции.

Тетя Таня умерла счастливой при всей своей сказочно несчастливой жизни, и в этом смысле она несколько выбивается из легиона большевистских жертв. А причина в редкостном жизнелюбии, улыбчивом оптимизме и поразительном для такой горькой судьбы чувстве юмора. Ее сестра, моя матушка, была полной ее противоположностью, хотя тетя Таня уверяла меня, что в молодости мама была совершенно иной. И дело совсем, совсем не в возрасте...

* * *

Опять — о маме. О том, почему она однажды разучилась улыбаться и не улыбалась уже никогда. И никогда не плакала, даже на похоронах отца не проронила ни слезинки.

К моменту рождения первого ребенка ее грешный отец уже где-то служил, но в преддверии

скандала сразу же перевелся подальше. Не знаю точно, где родилась тетя Оля, но мама увидела свет в Варшаве. Эта неосторожность родителей лишь чудом не испортила жизнь дочери: в 1939 году во время злосчастной Финской войны матушка оказалась в числе зачинательниц движения командирских жен по оказанию помощи раненым воинам. Для нее это было обычным занятием, поскольку подобной деятельностью занимались когда-то ее бабки, прабабки, кузины, тетки и вообще «дамы общества», но командование было потрясено порывом патриотизма, список жен-благотворительниц доложен куда следовало, и «ТАМ» соизволили пожелать лично поглядеть на подвижниц. А поскольку грамотность уже овладела массами, то ни одно доброе дело теперь не мыслилось без бумажек, и началось писание анкет и заполнение автобиографий (я сознательно написал абракадабру, достойную этого занятия). Матушка и там, и там, и там, и... в общем, во всех видах жандармских бумажонок честно указала, что родилась в Варшаве, и была, естественно, немедленно изъята из всех списков. Так она и не пообщалась с товарищем Сталиным, но зато, правда, не познакомилась и с его Малютами Скуратовыми на местах, что следует рассматривать как сказочный подарок судьбы.